

III. В УНИВЕРСИТЕТЕ

Как и предполагалось, Чернышевский переехал в комнату к Раеву, снимавшему ее в квартире француза Аллеза, в большом доме князя Вяземского на Гороховой улице, у Каменного моста.

После спокойной, размеренной провинциальной жизни в дружной семье, с ее домовитостью, уютом, хлебосольством, предстояло одинокое на первых порах и скудное студенческое существование.

Евгению Егоровне оно рисовалось далеко не в радужном свете:

— Ну, что это за жизнь? Тысячи полторы населяют дом, и никто друг другом не интересуется, никто знать друг друга не хочет. Не знаешь — кто подле вас, кем вы окружены... Ни дворов, ни садика, за каждую мелочью беги в магазин.

Утешало ее лишь то, что все-таки не вовсе один будет жить ее сын, а на глазах у старшего родственника.

Раев в ту пору уже кончал юридический факультет Петербургского университета. Был он суховат, сдержан, подтянут, чрезмерно расчетлив, обладал многими задачками будущего делателя трудной чиновничьей

карьеры в столице. У Евгении Егоровны эти качества Раева вызывали, пожалуй, даже уважение, но Чернышевскому они решительно не нравились. Впрочем, отступать было некуда, и он решил просто не высказывать своего нерасположения к этим чертам сожителя.

Впоследствии расхождение между ними углубилось еще и потому, что слишком различны были их убеждения. В своих воспоминаниях, содержащих отдельные любопытные штрихи, Раев сам подчеркивает, что он никогда не разделял политических воззрений своего родственника.

В довольно большой комнате, занимаемой Раевым и Чернышевским, стояло два дивана, заменявшие им кровати, полдюжины стульев, старый письменный стол и небольшая этажерка с книгами.

По свойственной Чернышевскому привычке всегда изображать свое положение с лучшей стороны он в письмах к родителям не уставал твердить о выгодах пребывания именно в этой квартире. Во-первых, хозяин ее — француз, следовательно — можно выучиться говорить по-французски, не теряя ни времени, ни денег, подобно тому как учился в Саратове у Грефа немецкому, а у торговца фруктами персидскому. Во-вторых... (но тут Чернышевский забывал, что вторая выгода исключает первую) вторая выгода заключалась в том, что дома, как правило, никого, кроме старой служанки, не бывает. Хозяин уходит на уроки с раннего утра и возвращается в одиннадцать вечера. Супруга его где-то гувернанткой и дома бывает только по воскресеньям, как в гостях. Сын Аллезов с утра до позднего вечера учится. Никто не может мешать занятиям, «мы решительно целый день одни...»

На поверку впоследствии оказалось, что отнюдь не бесшумно было в этой квартире. Возвращаясь с уро-

ков, Аллез громко пел, беспрестанно разговаривал с сыном, — словом, сильно мешал своим квартирантам, а обучать их французскому языку и не думал

Нельзя принимать за чистую монету все, что рассказывал Чернышевский в письмах к родителям о своем житье-бытье. Многие из того, что он писал о себе, сообщалось с явным расчетом усыпить их тревогу, обмануть их беспокойные предчувствия. Сначала это еле заметно и касается лишь пустяков. Потом, по мере того как окончательно складывается его особый внутренний мир, совершенно чуждый духу его семьи, это несоответствие начинает все чаще проскальзывать в письмах.

Духовная связь с семьей, традиции, общность представлений — все это было изжито Чернышевским вовсе не сразу, а после длительной и трудной внутренней ломки.

В начале своего пребывания в университете он был еще тесно связан с тою средой, от которой только что оторвался. Ее идеалы, привычки, обычаи были ему близки и дороги. Только с течением времени стало ему ясно, что те интересы, какими он постепенно проникался в новой обстановке, несовместимы с духовным укладом оставленной среды. С ростом нового круга интересов усиливалась внутренняя борьба в нем самом, приведшая в конце концов к кризису и решительному разрыву с прежними традициями и представлениями.

На другой день после отъезда Евгении Егоровны Чернышевский присутствовал на торжественном молебне в университетской церкви и слушал потом представление, с которым обратился к студентам ректор университета Плетнев, тот самый Плетнев, другом которого был Пушкин.

Затем начались занятия. Чернышевский был целиком поглощен университетскими делами. Аккуратно посещал лекции, постепенно знакомился с товарищами, привыкал к университетским порядкам.

Со свойственной ему пунктуальностью он уже высчитал расстояние от дома до университета: 16 минут ходьбы, 960 его двойных шагов, 1 верста 300 сажень — немногим больше, чем в Саратове от дома до семинарии. Это не только пунктуальность, но и одна из привычек погруженного в себя человека, не замечающего уличной жизни. Ведь и здесь, как в Саратове, нередко случалось ему спохватываться, пройдя мимо ворот своего дома

Однообразный ежедневный маршрут — из дома в университет, из университета домой — примелькался скоро до мельчайших подробностей. «Если я выхожу из дому, то иду все по той же вечной Гороховой улице или Невскому, мимо Адмиралтейства, в университет и потому не вижу ничего нового, кроме картинок, беспрестанно сменяющихся, которыми увешаны стены дома, где магазин гравюр и литографий Дациаро»

С такою же пунктуальностью определил он и свой чрезвычайно скромный бюджет, точно установив, сколько потребуется ему на стол, на свечи, на перья, даже на ваксу на баню и мыло, определил несложный распорядок дня, чтобы жить по расписанию, по часам и минутам.

Приподнятое, радостное состояние не оставляло его, хотя восторг по поводу того, что он в университете, довольно скоро сменился трезвой оценкой действительного положения вещей.

¹ Итого 20 рублей серебром в месяц. «Боже мой! Как дорого, если бы я знал — не поехал бы сюда.»

Уже через несколько дней после начала занятий он пишет отцу: «Все это как видите, нечто вроде пустяков. Я не знаю, как Вам писать это. Вы сейчас и станете опасаться, что «если считает пустяками, то станет пренебрегать опускать лекции». Но разве я не говорил того же о семинарских классах и опустил ли хоть один? Дружба дружбой, а служба службой: думай, как хочешь, а сиди и слушай... Та же отчасти история, что и в Саратове. Отчасти, слава бэгу, нет».

И он сидел и слушал, хотя уже твердо решил про себя, что лекционный метод во всем уступает методу тех университетов, где профессор читает предмет лишь двадцать, тридцать, много — пятьдесят часов в год, да и то преимущественно обозревая библиографию своей науки. Ведь настоящее средство образования — книги, а не беседы. Давно миновало то время, когда не было книг и ученики должны были идти в пустыню за Абеяром¹.

Так думал Чернышевский, едва приступив к занятиям в университете. Из двадцати одной лекции, читавшихся в неделю, лишь пять показались ему достойными внимания: две по всеобщей истории (читал М. Куторга), две по психологии (читал Фишер), да одна по славянским наречиям (Касторский). Программы по латыни и греческому языку выглядели слишком уж элементарными. Он знал эти языки в гораздо большем объеме. С пренебрежением отнесся Чернышевский также к курсу богословия, преподаватель которого Райковский, с точки зрения чрезвычайно начитанного в богословии вчерашнего семинариста, недостаточно глубоко знал свой предмет.

Восемнадцатилетний Чернышевский был еще во

¹ Абеяром — средневековый французский философ-схоласт.

власти религиозных предрассудков привитых ему в семье. Он просит отца прислать ему роспись всем постам и постным дням, так как намерен строго соблюдать их. Но наряду с этими давно сложившимися представлениями в душе юноши постепенно пробуждаются новые, которым суждено не только вступить в борьбу с прежними, но и решительно преодолеть их.

Ничто так не облагораживает юность, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес, говорит Герцен. Широкие социально-этические проблемы общего характера волновали Чернышевского еще до поступления в университет. А. Н. Пыпин вспоминает, что двоюродный брат его, еще будучи семинаристом, нередко проводил время в разговорах на общественные темы с молодыми людьми из помещичьего круга, приезжавшими из столицы на каникулы в Саратов. В переходный между семинарией и Петербургом период Чернышевский, по словам Пыпина, был юношей, ревностно искавшим знаний и полным идеализма. Он зачитывался Пушкиным, Жуковским, Шиллером и, что особенно важно, увлекался не только поэтическими картинами, но и возвышенными социальными идеями.

В Петербурге это умонастроение его вступило в новую фазу быстрого развития. «Часто писал он мне длинные письма по-латыни, — рассказывает учившийся в то время в первых классах гимназии Пыпин, — он касался в письмах таких предметов, о которых было менее удобно писать письма по-русски. Здесь в первый раз к концу сороковых годов я увидел возможность крестьянского вопроса»..

Чернышевскому, еще не успевшему завязать дружеские отношения среди однокурсников в университете, нужны были собеседники, перед которыми он развивал бы любимые темы. Родители не могли быть

такими собеседниками И вот он обращается к гимназисту Пыпину, пониманию которого эти темы едва ли по-настоящему были тогда доступны, обращается к Любови Котляревской, которую, вероятно, вовсе не волновали общественные темы. Несколько позднее, когда Чернышевский нашел друзей и собеседников в университетской среде, эти мотивы в письмах к близким людям детской поры стали звучать реже, а потом и вовсе исчезли.

Но в конце 1846 года студент Николай Чернышевский по праву старшего друга дает Александру Пыпину невинное с виду задание перевести с латинского несколько протеевых стихов, особенность которых состоит в том, что они допускают любую внутреннюю перестановку слов без нарушения смысла и размера¹. Переводя эти стихи, гимназист Пыпин усваивал опасные истины, показывавшие, в каком направлении работала мысль его старшего друга и брата: «Пусть исчезнет ложь, насилие и придет справедливость или рушатся небеса», «Пусть восторжествует справедливость или погибнет мир» — вот какие «лозунги» подбирал для протеевых стихов студент Чернышевский.

В Петербурге знакомится он с новым романом модного в ту пору писателя Эжена Сю — «Мартин Найденыш». Едва приступив к чтению романа, Чернышевский спешит посвятить Любовь Котляревскую в содержание и смысл этого произведения.

Интерес его к «Мартину» был подогрет тем, что он слышал еще раньше: цель романа — изображение бедственного состояния крестьянства во Франции и попыт-

¹ Стихи подобного рода назывались так по имени древнегреческого морского бога Протея, которому приписывалась способность произвольно менять свой вид.

ка указать средства к устранению насилия и гнета над низшими классами. Размышляя попутно и о «Парижских тайнах» того же Сю, Чернышевский задается вопросом о возможности нравственного возрождения людей, искалеченных социальными условиями. Он уже отчетливо видит, что в мире царит несправедливость, что человечество погрязло в пороках, что оно страдает и мучается не по своей вине, а в силу каких-то условий, борьба с которыми мыслится юноше еще в плане христианского вероучения.

«Какая высокая, священная любовь к человечеству у Сю!» — восклицает он. — «Удивительно благородный и, что всего реже, в истинно христианском духе любви написанный роман...»

И приверженность к возвышенным идеям, и увлечение свободолюбивой поэзией Пушкина, и пристальное внимание к крестьянскому вопросу, и страстное желание юноши, чтобы в мире восторжествовала справедливость, — все это показывает, что уже здесь мы имеем дело с некоторыми зачатками будущей системы взглядов утопического социалиста. Но это только зачатки, только первые попытки осмыслить миропорядок в свете общих социальных идей. Они еще сливаются с религиозным строем мыслей Чернышевского, но почва для их развития в ином направлении уже подготовлена.

Совсем не по возрасту были серьезны тогда запросы Чернышевского. Читая проникнутую глубоким патриотическим чувством поэму А. Майкова «Две судьбы», он стремится вместе с поэтом понять причины умственной закоснелости тогдашнего общества.

И не зажгла наука в вас собой
Сознания и доблестей гражданства...

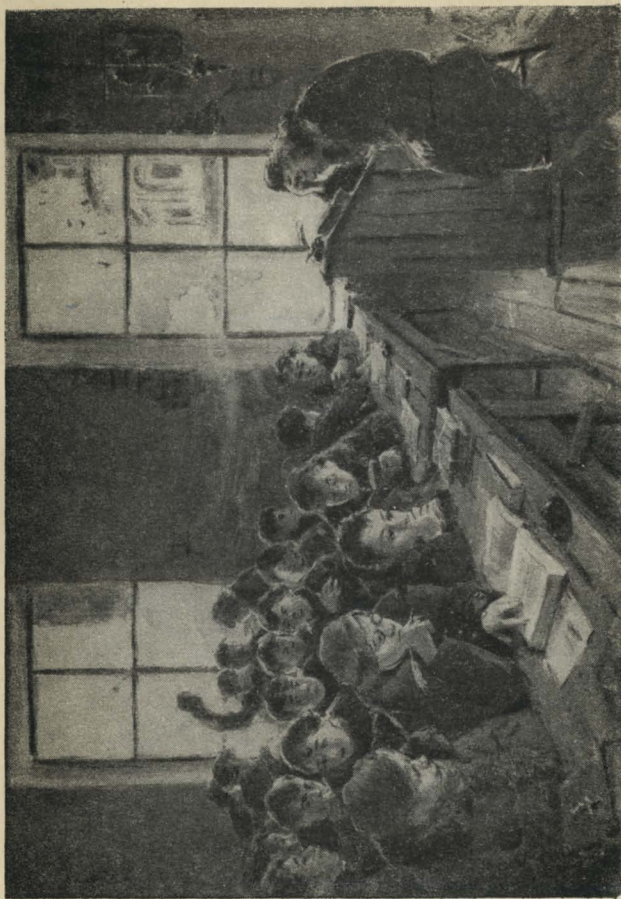
Строки эти вызывают у него пылкие, искреннейшие, пророческие мысли о своем призвании, о будущей родине

Многим памятна отроческая клятва Герцена и Огарева на Воробьевых горах¹.

Рядом с Чернышевским в то время еще не было такого друга, сердце которого билось бы в унисон с его сердцем. Взмолвленный мыслями, вызванными чтением «Двух судеб», он пишет двоюродному брату письмо, которое звучит как клятва: «Решимся твердо, всею силою души, содействовать тому, чтобы прекратилась эта эпоха, в которую наука была чуждою жизни духовной нашей... Пусть и Россия внесет то, что должна внести в жизнь духовную мира... выступит мощно, самобытно и спасительно для человечества.. на великом поприще жизни — науке... И да совершится чрез нас хоть частию это великое событие!.. Содействовать славе не преходящей, а вечной, своего отечества и благу человечества, — что может быть выше и вождедленнее этого?»

Такова была уже в ту пору сила патриотического чувства Чернышевского. Мы помним, что своего семинарского друга Михаила Левицкого он считал человеком способным в иных условиях стать гордостью России. Не столь уж важно, преувеличенно ли это мнение, — гораздо важнее то, что оно обнаруживало желание юноши видеть и себя и своих друзей людьми, поддерживающими честь родины.

¹ Расправа Николая I над декабристами (в 1826 г) произвела неизгладимое впечатление на Герцена «Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души», — пишет он в «Былом и думах». Через два года, во время прогулки на Воробьевых горах, Герцен поклялся вместе со своим другом Огаревым посвятить всю жизнь борьбе за свободу родины.



Старая духовная семинария. (С картины художника А. А. Хоменко.)



Н. Чернышевский и М. Левицкий. (С картины художников
В. В. Даниловой и О. А. Дмитриева.)

С таким ощущением, с такими мыслями вступил Чернышевский в университет, и ему казалось, что он встретит здесь немало достойных людей

Верный «духу студенческого сословия», он радовался успеху каждого товарища, если даже тот не был знаком ему лично

Вот о студенте А. Плещееве пишут в «Отечественных записках» как об одном из лучших поэтов современности Чернышевскому «вдвойне приятно» сообщить об этом родным — словно бы слава Плещеева коснулась его самого

В это время начали у него устанавливаться очень близкие отношения с вольнослушателем университета Михаилом Ларионовичем Михайловым, впоследствии видным поэтом и революционером.

Познакомились они на первой же лекции и сошлись очень скоро, но более тесному сближению сначала несколько препятствовало заметное различие их характеров

Насколько Чернышевский был замкнут, сдержан, осторожен в проявлении чувств, настолько Михайлов был открыто эмоционален, изменчив в настроениях. В его натуре, говорит ближайший друг Михайлова Шелгунов, «было слишком много нервности чисто женской, его легко было огорчить и вызвать на глазах слезы, но огорчения его обыкновенно сменялись веселым настроением»

Различие проявлялось и во внешнем поведении. Один был неловок, угловат. В манерах и движениях другого бросалось в глаза природное изящество, внутренняя грация, то сильно развитое «чувство формы», о котором говорит Шелгунов

Михайлов получил хорошее домашнее образование, но экзаченов в университет не выдержал, потому что

плохо подготовился к ним, всецело поглощенный литературной деятельностью. Ему пришлось поступить в университет вольнослушателем.

На первой же лекции Михайлов обратил внимание на близорукого бледного студента в сереньком форменном сюртуке.

— Вы, вероятно, второгодник? — обратился Михайлов к студенту.

— Нет, а вы, должно быть, судите об этом по сюртуку?

— Да.

— Так он с чужого плеча. Я купил его на толкучке, — отвечал Чернышевский, и между ними завязалось знакомство.

Под впечатлением встреч с Михайловым Чернышевский писал отцу, что он никак не думал встретить здесь таких даровитых и знающих людей.

В семинарии Чернышевский привык быть преимущественно полезным для других. Теперь дружба могла принести пользу и ему. В лице Михайлова он встретил редкого знатока мировой литературы. Недаром его называли «ходячей библиографией». Кроме восточных, древнегреческих и латинских поэтов, он знал всех видных английских, немецких, французских писателей.

Михайлов уже изведal первые, приятно кружащие голову успехи на литературном поприще. Он печатал в «Иллюстрации» свои оригинальные и переводные стихотворения, статьи, заметки.

Несомненно, что уже в раннюю пору знакомства Чернышевского с Михайловым их солижала общность социальных взглядов, присущая им обоим ненависть к угнетателям родного народа.

Михайлов несколько раньше Чернышевского освободился от религиозных предрассудков. В одной из пер-

вых книг о Михаиле Ларионовиче, вышедшей вскоре после его смерти, говорится:

«Юношеский жар своей души, требовавшей фанатических привязанностей и страстной любви, он перенес на дело свободы и мысли. Чернышевский впоследствии всегда говорил, что первый толчок на пути к развитию был дан ему Михайловым.

Со своей стороны Михайлов, развившийся в те времена, когда положение России казалось вполне безвыходным, безотрадным, тем склоннее был к несколько апатическому отчаянию, чем сильнее любил свою родину, чем яснее понимал свои обязанности как человека и гражданина. В этом отношении влияние гениальной энергии Чернышевского было для него спасительною поддержкою».

Революционные убеждения Михайлова складывались, вероятно, под непосредственным впечатлением рассказов в семье о трагической участи его деда Михаила Максимовича, который был крепостным симбирской и оренбургской помещицы Надежды Ивановны Куроедовой, изображенной в «Семейной хронике» С. Т. Аксакова под именем Прасковьи Ивановны Багровой.

После смерти Куроедовой Михаил Максимович был отпущен на волю, но вольная не была соответствующим образом оформлена. Воспользовавшись этим, наследники Куроедовой снова его закрепили. Михаил Максимович протестовал; тогда его заключили в острог, судили и засекли до смерти за неповиновение помещичьей власти. Отец Михайлова (начальник Илецких заводов), умирая, говорил Михаилу Ларионовичу, «чтоб он помнил историю своего деда, никогда не делался барин» и стоял за крестьян».

Чернышевский сразу понял, что Михайлова ждет большое будущее, что из него выйдет человек замечательный. Это знакомство способствовало расширению кругозора Чернышевского. Они стали бывать друг у друга чуть ли не ежедневно, вместе читали «Отечественные записки», «Современник», толковали по целым вечерам напролет о литературе, о политике, об университете. Но и по прошествии нескольких месяцев Чернышевский оговаривался, что «еще не так дружен с ним, чтобы говорить от души о том, что лежит на сердце». «Мы очень часто бываем друг у друга. Он со мною откровенен, очень откровенен, но у него уж такой характер, не то, что у меня. Впрочем, и я с ним гораздо более откровенен, нежели с другими. Не любить его нельзя, потому что у него слишком доброе сердце. Но все я еще не столько знаю его, чтобы совершенно сказать, что считаю себя его другом. Чем больше я стал узнавать его, тем более стал любить, хотя и не скажу, чтобы все в нем мне нравилось. Но все же я его более всех других люблю».

Хотя Михайлов вскорости вынужден был оставить университет и уехать в Нижний Новгород, однако дружеские отношения их не прерывались.

На филологическом отделении первокурсников было сравнительно немного. Среди небольшого числа их человек восемьдесят — вчерашние семинаристы. Еще в тридцатых годах в университет начался приток разночинцев, заставивший потесниться детей дворян¹.

¹ Пушкин писал в черновых набросках 1833—1835 годов: «Даже теперь наши писатели не принадлежащие к дворянскому сословию, весьма малочисленны. Несмотря на то, их деятельность овладела всеми отраслями литературы у нас существующими. Это есть важный признак и непременно будет иметь важные последствия».

В сороковых годах университеты уже решительно заполнились семинаристами — выходцами из чиновничьей и мещанской среды Чернышевский попал в университет как раз в промежутке между наибольшим наплывом туда этой категории учащихся и последовавшими вскоре предупредительными мерами николаевского правительства, которое после революционных событий 1848 года на Западе старалось искусственно приостановить наплыв разночинцев в учебные заведения. Именно в 1848 году в секретном циркуляре министра народного просвещения Уварова (автора известной реакционной формулы — «православие, самодержавие и народность») указывалось, что «при возрастающем повсюду стремлении к образованию наступило время пеших о том, чтобы чрезмерным этим стремлением не поколебать некоторым образом порядок гражданских сословий, возбуждая в юных умах порыв к приобретению роскошных знаний».

И действительно, через год число вновь принятых в университет студентов было сведено к минимуму. На первый курс филологического отделения Петербургского университета в 1849 году попали только два человека!

Вступив в университет, Чернышевский вскоре отметил, что и среди профессоров встречаются люди из социально близкой ему среды. Он чувствовал особую симпатию к таким профессорам. Это сказалось даже в споре с отцом о важности изучения французского языка.

Гавриилу Ивановичу очень хотелось, чтобы сын в совершенстве овладел языком светских салонов. Сын возражал, доказывая, что не обязателен этот лоск, что неумение болтать по-французски теперь уже не гово-

рит о плохом воспитании. Для дела необходимо знать язык книжно и не так уже важно хорошее произношение. Он берет в пример профессоров Никитенко, Устрялова, Неволина. Они не говорят ни на одном из новых языков. Где им было смолоду выучиться говорить? Никитенко и Устрялов — вольноотпущенники графа Шереметева, а Неволин — «ведь вы знаете, кто он?» — спрашивал сын, имея в виду духовное происхождение Неволина. «Органов загрубелых уже не переломить, а лучше вовсе не говорить, чем говорить так, чтобы смешить своим произношением».

Вчерашние вольноотпущенники-профессора, вступая в общество, нередко растворялись в нем, дух свободомыслия и протеста покидал их, они постепенно примирялись с существующим порядком вещей и начинали способствовать видам правительства. Они не были, конечно, такими ревностными слугами самодержавия, как попечитель Петербургского учебного округа ярый крепостник граф Мусин-Пушкин. Их могли даже возмущать какие-нибудь «крайности» в правительственных мерах; однако они не шли дальше выражения тайного недовольства под маской полной внешней покорности.

Испытывая на себе постоянный гнет официальной самодержавно-бюрократической идеологии, они не решались, не смели прямо идти против нее, стараясь лавировать, и положение их поэтому было довольно жалким. Это инстинктивно и остро чувствовала разночинная молодежь, пришедшая к ним учиться. Вот почему Чернышевский так быстро разочаровался, перестал ждать чудес от университета. Вот почему Михайлов, проучившись год с лишним, предпочел отправиться в Нижний служить, а их общий приятель — Лободовский, пешком пришедший из Курска в Петер-

бург, чтобы поступить в университет, также очень скоро осознал, что здесь учатся ради дипломов, а не ради подлинного просвещения. Понял это и Чернышевский.

Но другого выхода не было. Нужно учиться хотя бы и ради диплома, чтобы не пропасть, не затеряться потом в бесчисленной массе чиновников. Только обучение в столице и диплом открывали какую-то перспективу в будущем. В противном случае жизнь оттесняла, отбрасывала людей его круга на задний план.

Родным в Саратов Чернышевский писал: «Такой уже теперь порядок вещей, что для того, чтобы быть чем-нибудь (о выскочках не говорим: ведь это исключение), надобно учиться в высших заведениях и служить в столице: без этих двух условий так и останешься ничем, как был».

Дух застоя и реакции давал чувствовать себя на каждом шагу Казарма и канцелярия, по выражению Герцена, сделались опорой политической науки Николая I. Пружинами этой «сильной» власти была слепая, лишенная здравого смысла дисциплина в соединении с мертвым формализмом чиновников. Квартальные, говорит Герцен, занимали и университетские кафедры. Гласными и негласными предписаниями, устными и письменными внушениями, «пожеланиями» и указами всякого рода стеснена была деятельность каждого из профессоров. А В. Никитенко в своем дневнике рассказывает, как однажды на чрезвычайном собрании совета университета под председательством Мусина-Пушкина прочитано было предписание министра, составленное «по высочайшей воле», в котором разъяснялось, как должны были понимать господина профессора «нашу народность и что такое славянство по отношению к России».

Предписание гласило, что «народность... состоит в беспредельной преданности и повиновении самодержавию, а славянство западное не должно возбуждать в нас никакого сочувствия». Оно, дескать, само по себе, а мы сами по себе. Его величеству угодно было считать тогда, что западное славянство уже «окончило свое историческое существование», и на основании этого министр Уваров изъявил желание, чтобы профессор с кафедры «развивали нашу народность не иначе, как по этой программе и по повелению правительства. Это особенно касается, — отмечалось в предписании, — профессоров славянских наречий, русской истории и русского законодательства».

Неудивительно, что у питомцев университета создавалось впечатление, что на филологическом отделении им приходится только даром терять время. Рутин и формализм, пустословие и буквөөдство...

В дружеских беседах между собой студенты смеялись над «светилом эллинской мудрости» — престарелым профессором греческой словесности Грефе, которому без неправильных глаголов и жизнь была бы не в жизнь. По своим взглядам, точнее сказать — по совершенному отсутствию их, этот старец казался Чернышевскому младенцем. Грефе и знать ничего не хотел, кроме этимологии греческого языка.

Как и Фрейтаг, он читал свои лекции и экзаменовал на латинском языке. Был он, в сущности, добр, но вспылчив до крайности. Рассердившись, бросал книгу на пол, топал ногами, крича: «Abi ad malem gen!» («Поди к чорту!»). Впрочем, формально удачный ответ заставлял его сразу смягчаться. Знания учеников проверял он пытливо, пуская в ход «римские сарказмы». «Да, склонения ты знаешь, но, может быть, на этом и кончаются твои познания?» — язвительно

говорил Грефе по-латыни экзаменуемому. «А ты спроси!» — отвечал ему в лад по-латыни последний.

Преподавание словесности и истории русской литературы не могло удовлетворить тех студентов, которые мыслили самостоятельно. Кафедру словесности занимал Никитенко, истории литературы — Плетнев. Оба были незаурядными литераторами — имена их остались в истории литературы, но менее всего сказались их даровитость в преподавании. Студентов удивляло даже, почему Плетнев, высказывавший иногда в своих статьях дельные и верные мысли, предавался на лекциях «усыпительной болтовне», а Никитенко старательно избегал касаться «острых» вопросов, затронутых в том или ином произведении, останавливаясь главным образом на его внешней стороне.

Плетнев вечно искал «примиряющей середины», как-то особенно чурался «крайностей», недолюбливал оригинальность, если она не подходила под его излюбленную мерку... И Никитенко тоже в тех случаях, когда ему все-таки приходилось освещать внутреннюю, «принципиальную» сторону разбираемого произведения, ловко лавировал между рифами, отделяваясь туманными рассуждениями о высоких материях.

Чернышевский очень скоро по достоинству оценил либерализм этих видных университетских наставников, робкую половинчатость их идейных устремлений и, разумеется, не мог уважать профессоров, неукоснительно подчинявшихся требованиям казенной идеологии.

Внешняя жизнь Чернышевского текла очень однообразно. Он ходил на лекции, в библиотеки, встречался с товарищами, спорил, беседовал с ними. Так

проходили дни, недели, месяцы. Он регулярно писал письма домой. Очень много читал. И книги заслоняли все. Случится ему достать намеренную книгу — и настроение становится радостным. Наоборот, не удастся достать нужную — он готов впасть в хандру. От посещения театров удерживался, боясь, что театр отвлечет его от занятий. Родителей уверял, что терпеть не может театра. Вознамерился было посещать музыкальные вечера по воскресеньям в университете, но раздумал: нужно было заплатить за зиму три рубля серебром. Лучше потратить их на книги.

Университетские танцевальные вечера показались ему просто смешными — и за кавалеров и за дам выступали студенты. Студенческие пирушки проходили без него. Вина он в рот не брал — нестерпимо скучными считал подобные развлечения. Ходил иногда в гости к землякам, знакомым и друзьям своего отца. В Петербурге было немало уроженцев Саратова. Иные успели добиться больших чинов, жили привольно и широко. Родители всячески внушали сыну, что необходимо поддерживать полезные знакомства. Порою он готов был подчиниться их желанию, но мешала присущая ему шепетильность. Мало-мальски неделикатное проявление покровительства с чьей бы то ни было стороны непременно бы задело его. Да и ненужным считал заводить знакомых для того, чтобы наносить им визиты, сидеть у них молча или толковать на безразличные темы.

Внешняя жизнь шла удивительно бессобытийно. Но ведь «есть жизнь другая, жизнь внутренняя, душевная, — писал он А. Н. Пыпину. — Это-то и есть истинная жизнь. В ком есть она, тот занимается внешнею жизнью и заботится о ней только настолько и постольку, чтобы она не мешала внутренней...»

Вот почему с таким стоическим спокойствием переносил Чернышевский все лишения, невзгоды, неурядицы в быту. А их было много. Отсутствие сколько-нибудь свободных денег давало себя чувствовать на каждом шагу. Ему во всем приходилось ограничивать себя, все время изворачиваться, выкраивать рубли и копейки, чтобы сводить концы с концами. К этим грошовым заботам примешивалось постоянно мучившее его сознание, что родителям недешево обходится его жизнь в Петербурге. Каждый мало-мальски значительный расход был для него очень ощутителен.

Подступала зима. Требовалась экипировка. Он готов был обойтись без шубы — благо до университета пятнадцать минут ходьбы, а в баню можно ходить и в тулупе. Но как обойтись без парадного мундира и без шинели? Он намеревался купить подержанный мундир за полцены у какого-то сенаторского сына, но, увы, воротник на этом мундире оказался бальный, то-есть был вышит не просто гладким золотом, а с блестками. Пришлось заказывать мундир. «О, как дорого здесь жить! Как все здесь дорого! Ужас!» Он сокрушается по поводу того, что белый хлеб в три с половиною раза дороже, чем в Саратове. Театр, извозчики — все это прихоти, о которых нечего и думать. Он будет пить чай только по воскресеньям или вовсе не пить его, чтобы свести расходы буквально к минимуму!

На первый взгляд это беспокойство кажется просто непонятым. Ведь он — единственный сын. Но семью Чернышевских нельзя отделять от многодетной семьи Пыпиных. Все тяготы жизни ложились на обе эти семьи равномерно.

Родители успокаивали Чернышевского. Не доверяя им, он старался стороною выведать, как отзывается

его пребывание в столице на бюджете отца. Он с нетерпением ждет, когда же, наконец, будет самостоятельно зарабатывать, хотя бы уроками. Он убежден в том, что блага жизни сами по себе вовсе не должны быть предметом забот и желаний, что это только условие, только средство, без которого немислима истинная, то-есть внутренняя, жизнь. Лишь бы хлопоты и заботы не мешали настоящей жизни. Но они-то не оставляли его в покое ни на минуту. И потому так часто приходилось писать своим о «материальностях», без конца делить и умножать, складывать и вычитать какие-то цифры, как будто и впрямь эти рубли и копейки могли занимать его воображение.

Отцу и матери представлялось, что редкие способности сына сразу же обратят на него внимание университетского начальства. Беспокойное честолюбие матери прорывалось в прямых вопросах: кто из профессоров отличил сына среди остальных студентов? И хотя Чернышевский отвечал, что Фишер и Касторский выказали свое расположение к нему, однако не это, в сущности, интересовало его теперь. Сам он, правда, намеревался в дальнейшем пойти «по ученой части», но дух неверия в казенную науку уже коснулся его. Он видит, что в настоящих условиях ничего, кроме вершков, в университете не нахватаешь. Он не на шутку озадачен тем, что почему-то «нашим знаменитостям плохо удаются экзамены» и что они, знаменитости, «не в дружбе с правительством вообще». Перед ним встают примеры Белинского, Герцена и еще более близкий пример Плещеева, который «вышел в поэты и вышел из университета». Вот и Михайлов собирается покинуть «святилище наук». И новый друг Чернышевского, Лободовский, с злобной иронией твердит о пустоте университетского преподавания. Да

и сам Чернышевский не скрывает от отца, что очень доволен приближением «невских каникул», которые наступят во время ледохода, когда разведут Исаакиевский мост через Неву и занятия поневоле прервутся, пока не наладится переход по льду.

Юноша был далек от полной откровенности с родными, но все-таки в письмах нет-нет, да и проскользнет какая-нибудь «еретическая» мысль, и тогда отец осторожно выпытывает: кто такие его друзья и смотрит ли начальство за частной жизнью студентов?

Письма из дому словно бы звали его назад. Иногда он читал их Раеву; кроме Раева, ему не с кем было поговорить о саратовцах, о прежнем житье. Временами он сильно скучал по дому и начинал считать, сколько месяцев и недель осталось до переходных экзаменов в мае будущего года и до летних вакансий, когда можно будет поехать на родину. Особенно тоскливо тянулось время в зимние праздники. День его именин, именин матери, рождество, Новый год — они всегда так шумно проходили в кругу семьи, а здесь воспоминания о них только подчеркивали его одиночество.

Некоторое оживление в застойную атмосферу факультета внес молодой профессор Измаил Иванович Срезневский, переведенный в начале нового года из Харьковского в Петербургский университет на кафедру славянских наречий. Он читал с живостью и неподдельным воодушевлением, которые невольно увлекали слушателей. Рассказывая, он пользовался богатым запасом собственных наблюдений, вынесенных из путешествия по славянским странам.

Инициативный, преданный своей науке, Срезневский сумел вовлечь студентов в самостоятельную рабо-

ту над летописями и другими памятниками старины, изучение которых считал необходимым условием основательного знакомства с историей развития отечественного языка. Чернышевский был одним из первых, кто сразу же с необычайным рвением отдался этому делу. Нарезая из бумаги карточки, он заносил на них в алфавитном порядке, как учил профессор, все слова, встречающиеся в летописи Нестора. В такой кропотливой механической работе проходили у него целые месяцы. Случалось, что он просиживал над заполнением этих карточек по восьми, по десяти, иногда даже по двенадцати часов в сутки.

Трудно себе представить что-нибудь более несовместимое, чем живая, пытливая мысль молодого Чернышевского и мертвое буквоедство, о котором так насмешливо отзывался он сам спустя двадцать пять лет.

«И я в твои годы, — писал Чернышевский сыну в 1877 году, — был настолько наивен, что копался в каком-то шафариковском¹ мелкословии... Переписывал какую-то пустяковщину из каких-то харатейных драгоценностей Румянцевского музея. Так велика была моя славянская ученость, что печатных книг уже не доставало для ее насыщения, и дошло дело до пожирания пергамента... Вообрази, в нем (в словаре. — Н. Б.) были перечислены все места летописи, в которых попадает слово «идти», или слово «ехать», или слово «земля», — можно верить такой невообразимой глупости? Так этого еще мало, друг; было там еще и не то: там были перечислены все места, где употреблено слово «ты», слово «я» и даже — о, ужас! — слово

¹ Имеются в виду филологические работы чешского ученого XIX века Шафарика.

«и». А слово «и» попадает почти на всякой строке! . и пошел воин, и пришел воин, и звали его Иван и пришел другой воин, и звали его Павел, и пришли Степан и Петр и Сидор и . и... и...

И все эти «и» были у меня собраны и перечислены с такою старательностью, как жемчужины по ореху величиною заботливо нанизываются на нитку, чтобы не затерялась ни одна из таких драгоценных редкостей.

Это была славянская филология.

По странной иронии судьбы, «партизан социалистов и коммунистов» (как называл себя впоследствии в дневнике 1848 года Чернышевский) должен был убивать время на «шафариковское мелкословие».

Секрет самой возможности подобного совмещения заключался, с одной стороны, в том, что узкий и специальный предмет Срезневского был все-таки связан в глазах молодого студента с самостоятельной деятельностью. С другой стороны, не только при первом знакомстве с Срезневским в 1847 году, но даже и несколькими годами позже Чернышевский еще не мог с уверенностью сказать, что его будущее связано с литературой, с публицистикой, с «Современником» Житетская необходимость толкала его на путь чисто научной деятельности.

Чернышевский предполагал получить по окончании университета ученую степень, а в таком случае он должен был заранее наметить профессора, который выдвинул бы его и оставил потом при университете. А тут как раз Срезневский сразу оценил методичность и добросовестнейшую внимательность Чернышевского в работе. Навыки, полученные последним еще в Саратове от Саблукова, сказались теперь. Заслуженное поощрение удваивало энергию Чернышевского. Вот

почему он мог так долго и рачительно заниматься са-
мой черной работой по филологии.

Однако будь Срезневский только сухим ученым,
вряд ли удалось бы ему увлечь Чернышевского
в дебри «мелкословия». Живой и восприимчивый ум
Измаила Ивановича, самостоятельность его мысли
и безаветная преданность науке импонировали юноше.

Срезневский не считал филологию основой основ,
а рассматривал ее как вспомогательную науку, на
которую опираются история, психология и т. п. Но
вместе с тем он «не понимал дарования, если оно не
погубило нескольких лет над составлением лексикона
или разбором пары строк халдейских слов».

Может быть, судьба его собственного незаурядного
дарования, замкнутого в слишком узкие рамки, про-
шедшего сложный путь, вызвала у него пренебрежи-
тельное отношение ко всему, что давалось без видимых
усилий и напряженного труда.

Строгость Срезневского как экзаминатора скоро
возбудила резкое недовольство им, которое студенты
едва не перенесли и на Чернышевского, охотно вы-
полнявшего учебные поручения профессора и намере-
вавшегося подготовить ему сочинение на медаль.

Приближались переходные экзамены. Чернышев-
скому и хотелось попасть поскорее в родной Саратов,
и уже жаль было разлучаться с товарищами, с кни-
гами, покидать Петербург, с которым он успел свык-
нуться. Настроение было такое, что хоть и не ехать...
Однако он боялся оскорбить этим отца и мать. После
долгих раздумий Чернышевский решил положиться на
их волю и желание и только твердил им в письмах
о больших расходах, связанных с возможностью сви-
даться лишь на короткое время. Родители все же на-
стойчиво звали его на вакации в Саратов.

Экзамены прошли превосходно. Чернышевский получил полные баллы по всем предметам. Перед окончанием экзаменов он стал собираться в дорогу.

Под вечер 7 июня Чернышевский выехал в дилижансе «четвертого заведения» в Москву. Там он прожил трое суток, поджидая денег из дому, подыскивая попутчика и выправляя подорожную. Попутчиком оказался чиновник, отправлявшийся по казенной надобности в своем экипаже. Путь их лежал через Рязань и Тамбов. В двадцатых числах июня Чернышевский приехал в Саратов.

